

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

7

---

2000

### СОДЕРЖАНИЕ

ЕЛЕНА ШВАРЦ — При черной свече, стихи	7
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ — Нам целый мир чужбина, роман	14
ОЛЕГ ХЛЕБНИКОВ — Море, которое не переплывет никто, стихи	74
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ — Ложка супа, маленькая повесть	77
АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ — Мираж у Геммерлинга, рассказ	90
АНАТОЛИЙ КОБЕНКОВ — Раздоры бытопорядка, стихи	105
<u>СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН</u> — Бабе Ане — сто лет, рассказ	110
ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — С выходом на Волхонку, стихи	119
БОРИС ЕКИМОВ — Память лета, короткие рассказы	124

#### ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ДМИТРИЙ КОСТОМАРОВ — В ряду поколений	135
---------------------------------------	-----

#### ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — Из книги «Мегабитовая бомба». Перевел с польского С. Ларин	156
---	-----

#### ПО ХОДУ ДЕЛА

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ — «Квартирный вопрос» может нас испор- тить	166
--	-----

#### МИР ИСКУССТВА

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Традиция без слов. Медленное в русской музыке	173
---	-----

#### ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

<u>А. СОЛЖЕНИЦЫН</u> — Евгений Носов. Из «Литературной коллек- ции»	195
--	-----

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Дмитрий Быков. Камера переезжает	200
Юрий Кублановский. Поэтическая Евразия Семена Липкина	204
Олег Мраморнов. Страсть к целому	207
Мария Виролайнен, Мелвар Мелкумян. В поисках «русской картины мира»	211
Ирина Роднянская. Философская «собака, зарытая в стиле»	216
Павел Крючков. Вся «Чукоккала» и «Весь Чуковский»	223

### КНИЖНАЯ ПОЛКА

ПОЛКА АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО	228
---------------------------	-----

### БИБЛИОГРАФИЯ

Книги (составитель Сергей Костырко)	234
Периодика (составитель Андрей Василевский)	238
Сетевая литература (составитель Сергей Костырко)	249
SUMMARY	256

АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА

№ 03654

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА АЗОЛЬСКОГО  
С 70-ЛЕТИЕМ!**

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА  
ВЛАДИМИРА СЕМЕНОВИЧА МАКАНИНА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!**  
Одно из премированных произведений Владимира Маканина —  
«Кавказский пленный» — было напечатано в «Новом мире»  
(1995, № 4).

**ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,  
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА  
АНАТОЛИЯ АНДРЕЕВИЧА КИМА  
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ  
«МОСКВА-ПЕННЕ»!**  
Премированная повесть «Стена» была напечатана в «Новом мире»  
(1998, № 10).

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

А. СОЛЖЕНИЦЫН



## ЕВГЕНИЙ НОСОВ

*Из «Литературной коллекции»*

**Е**вгений Носов из своих крестьянских низов поднимался в литературу скромно, неслышно, «тихими» рассказами, никогда ничем не прогремел, — да таким неслышным и остался до исхода своей, уже 75-летней, жизни.

Все рассказы его сюжетны — и разнообразны по содержанию, не повторяются, но и — лишены сюжетной жёсткости. В каждом из них сюжет просочен затопляющим настроением. Оно тоже варьируется от рассказа к рассказу, но после прочтения одного-другого сборника более всего и наполняет грудь читателя эта очень-очень тёплая, любовная к людям и природе расположенность. Ощущение весьма сравнимое с ощущением от рассказов чеховских — тем, когда и малозначительный эпизод лучится от пропитанности теплотой и не подвержен авторскому суду. Это настроение звучит уже и в мелодике названий: «Течёт речка», «В чистом поле за посёлком», «Шумит луговая овсяница», «Холмы, холмы...», «Во субботу, день ненастный», «И уплывают пароходы, и остаются берега».

Сами сюжеты — ничем не из ряду вон, не знаменательны, не героичны, чаще всего — обыденные эпизоды современной жизни — но всегда ласково высвечены. Как говорит автор: «Хотелось написать что-нибудь простое, бесхитрое, ни на малость не вмешиваясь в течение жизни». Краткость, неназойливость, непринуждённость показа. От каждого персонажа автор не упускает ни крохи сердечного тепла, с доброжелательным и чутким вниманием в случайной с ним беседе, «голос — пей, не напьёшься» — и никогда никаких авторских изъяснений, толкований происходящего. Перед нами медленно текут те самые простейшие эпизоды живой жизни, которых так недостаёт нам в учебниках истории, чтобы её ощутить, как бы поживши в ней. Та уверенная, непридуманная покойная обстоятельность быта простых людей — всё менее замечаемая нами в беспокойном современном круговерчении, где человеколюбие становится даром утраченным.

Перебранка ли юных пастушат через речушку, разделяющую колхозы во все нищий и более состоятельный. Волненья ли бабы с подросткой дочерью, собравшейся в загадочный город покупать девушке первую шубу — как не ошибиться? Умиранье ли заброшенной северной деревни, где на 12 добровечных изб осталось восьмеро жителей, полукалек, среди них — всеми забытый георгиевский кавалер Первой войны, — поэтическая грустная мелодия, струение души через северный пейзаж. — Или, в ожидании местного самолётника, простая пересидка от морозящего дождя в недалёкой избе и случайное втягивание в житейскую историю, сирую бабью судьбу с исчужевшим сыном. — Эта тема, одинокой крестьянской матери, вовсе покинутой выросшими, уехавшими детьми, переходит у Носова и из рассказа в рассказ. Иных матерей вызывают в город как нянек, для внуков, потом отшвыривают: молодое, ого-гожаненное поколение бывает удачливо, развязно, хватко, а старушка уезжает

домирать в пустую деревню: зато «кладбище у нас хорошее». — Ещё кричаще эта тема сгущена в рассказе «Тёмная вода»: ослепшая старуха по дороге в сельскую лавку за хлебом обронила последние очёчки в невылазную грязь, ищет, застряла и сама, — так что проезжие горожане-охотники издали приняли её за кабана, чуть не застрелили. Пошли избу искать — она без очков и избы своей найти не может. Сын и дочь её — недостижимо далеки, бросили. А мужа её справного, отдохавшего от смены на лугу, по небрежности раздали трактором — вот таким высоким мастодонтом, на котором и сейчас им встречается развязный, беспечальный молодой тракторист. — «Трактора теперь стали выше хат», с него и не углядишь, что там под гусеницами.

Или («Течёт речка») — многолетне затаённый, так и не состоявшийся деревенский роман, уже и до старости неудачника. Или («Луговая овсяница») — другое, годами затаённое ожидание молодой красивой крестьянки, уже она и с ребёнком, уже и облеплена приставателями — а дождалась-таки прихода своего желанного — женатого, дождалась всего на одну ночь, волшебную ночь косьбы при луне и лунном затмении к утру. — Или («Варька») ещё одна прекрасная бессонная лунная ночь, первая любовная смута сельской старшеклассницы, внутреннее пробуждение счастья, слияние с природой, «между водой и небом», шаловливая скачка на коне от догонщика-юноши, «живая доверчивая сила коня между ногами», и всё — точно выверенными словами, целомудренно, как всегда у Носова. — А то («Кулики-сороки») — поэма детской души, весеннее возбуждение доброго мальчика у края подступающего невиданного паводка — под возвратными весенними прилётами птиц; разъяснения бабушки в пересыпе народных мудростей, заповедник всего природного и исконно сельского, русского. — А то: самозанятый городской интеллигент по случайной командировке попадает на сутки в оглушающе запущенный колхоз, взять на анализ пробу их строительных залежей, им нечем строить, а «в колхозе — ни бревна». Уже год не дождавшись из города отзыва, бабы изильно ковбрыют ломами этот известняк. Приезжий заворачивает кусок на пробу, дарит ночные часы молодой отчаявшейся женщине, председателнице этого гиблого колхоза, на рассвете садится в поезд — а потом и не вспоминает, и теряет этот кусок пробы, так и не послав отзыва. (Очень чеховский рассказ.)

В рассказах Носова крестьянская жизнь — до того натуральная, будто не прошедшая через писательское перо. Никакой литературщины, никаких *приёмов*. Крестьянское осмысленное понимание каждого природного, бытийного хода. Такое коренное, подробное знание его, такой наметанный глаз, такая проницательная наблюдательность, какой не находили мы у дворянских писателей и быть не могло у них по их отстранённому положению. Да вот — она и есть неизмышленная простая *народность*, самый *тип* народного восприятия. Нам тут посылается один из последних памятников деревенской, а значит, тысячелетней и навсегда уходящей Руси. Она застигнута в её домирающем советском, а затем и послесоветском состоянии.

Какая соразмерная отчётливость в изображении мужика в оставляемых ему всё меньших клочках бытия. Какие незатёртые, ответственные слова для переданья той точности наблюдений, никогда не пустых и лишних, даваемой только долгим личным опытом и детальной врощённостью в быт. Какое точнейшее, невообразимое различие и название буквально *сотен* запахов — спектр, уже мало-мало кому доступный. Или: «о хлебе выпекаемом она говорила как о живом существе», передавая его, хлеба, павадки — в замесе, в печи и на отдышке. (Истинно что такое есть хлеб — ни нам, ни детям нашим уже никогда не отведасть.) Как точнее переданы лошажьи повадки, вроде: «лошадь усердно мотала головой, помогая себе тащить телегу», а когда пришла по колхозам директива о последнем уничтожении лошадей (60-е годы), боль мужичья о жеребятках: как убивать? «дети ведь ещё!» — А то — незримыми волнами уловленное поведение и чувства коровьего стада (и, на возврате с пастьбы, «нетерпеливое молоко каплет на дорожную пыль»). — Напоминанье о неповторимых, теперь вовсе забытых *праздниках труда* — как бывалый съезд

на мельницу для помола урожая, а ещё больше — косьба, сохранившая праздничный характер даже в принудно колхозное время. «В косарях — хмельная удаль, как ни при какой прочей работе». И косьба, как никакая другая работа, «не старит, а молодит». — Находим и поэзию ремесла: покойный мастер так оттачивал фуганок, что с расстеленной газеты «срезал буквы, не повредив бумаги», и «стружка тонюсенькая светится».

И как же Носов удерживался, чтобы не дать себя согнуть в заказную советскую казёнщину? Его сохраняла душевная чистота и природная недекларативная тихость: он и не претендовал отличиться перед начальством. Даже при типично советском сюжете — показательной сельскохозяйственной колхозной выставке, он переносил туда деревенскую сосредоточенность и ласку доярки к своей корове, когда-то выхоженной ею из проголоженной смерти — и вот до рекордных удоев. (А рядом — манерный выставочный ресторан и тучный, пьяный их председатель колхоза дирижирует залом, помахивая рачьей скорлупой.) — Так и повесть о начале Великой войны и первом массовом уходе мобилизованных мужиков («Усвятские шлемоносцы») Носов сумел нам дать с сильно приглашенными чертами колхозной жизни — и перелил в поэму о вечности крестьянства на земле и судьбоносной грозности всякого предвоенного расставания семей.

Конечно, трудно было бы ждать уж полного чуда. На войну бабы отправляют своих мужиков без крестных знамений. Бригадир отдельным заявлением уходит в армию на полсутки раньше других. — От войны Гражданской (это Курская область) тем поколением только-то и вспомнено, как какие-то белоказики где-то расстреляли рабочих. — Под немецкой оккупацией «привычную колхозную жизнь враг затоптал», и у семьи не какого там парторга, а ударника-тракториста в наказанье отобрали корову и швейную машину; зато как ушли немцы — бросилась баба скорей в сельсовет мыть полы: теперь «вольность вернётся!» — Или такой послевоенный сюжет: парень, техник, бросил полученную городскую квартиру и через обком настойчиво добился, чтоб его послали выручать родной загрязший колхоз. А мать, увидав у сына красную книжечку, «ощутила девичий румянец». Сын же (конфликт плохого-хорошего руководителей): «Могут и подбодрить [сверху кнутом], тут ничего плохого нет».

Но такая слабость — редка, редка у Носова. Да без советских рубцов — и вся ведь литература наша, даже у высших мастеров, не обошлась. И — не так, чтобы вообще деревенская литература содержала приукрашиваний и лжи больше, чем даже верхи литературы интеллигентской.

Однако, год за год, наш автор выстаивает, выстаивает — и ещё распрямляется. Атмосфера сельского неблагополучия всё больше насыщает его рассказы. Вот: «на бабах до сего дня пашем» (уже далеко от войны). «Бабе завсегда сыщется, на чём живот порвать». Полный колхозный развал. Начальники «анбары почистили да и отзвонились» к предколхоза. Как насильственно отбирали коров «в закуп». Как даже не разрешали колхозному хряку огулять частную свинью («расхищение общественного имущества...»). «Зануздают тебя, чтоб ни туда, ни сюда». «Земля изрыта дыбом от машин, от тракторов». Разросся бурьян «дурнишник» — знак гибели деревни. Разворовали мостики на дрова, жгут и яблони. — Вымирающие деревни на островах Онежского озера. Беспомощные смерти, до лекаря не дотянуться. (Но пароходы возят беззаботные экскурсии к сохранившимся деревянным церквям:

Брежат верхами островные храмы, будто парят над тусклым серебром Онеги, кисейно-призрачные, неправдоподобные как сновидение.

А ещё совсем недавно: «Разобрали б вы, мужики, этот хлам, смотри, кого ушибёт».)

А присущ Носову и лёгкий, тёплый юмор, как попутная при разговоре улыбка. Туристы с парохода видят — одноногий инвалид землю копает; многозначительно: «Ещё раскопка какая-то». А тот: «Да гальюн копаем, для пасажиров».

И уже в последние годы проступают самые издавшие картины, как под медленным, опоздавшим проявителем: воспоминания о Великом Переломе, в городе. «Как мы выжили? Болтушку варили со столярным клеем». — «Повалили нищие, всё в окна стучали, по нескольку раз в день. Измождённые, молодые казались стариками, уже безразличные ко всему. В ветоши, в разбитых лаптях, а ребятишки — с рахитичными босыми ногами». Старый детский доктор, ходивший на дом, посажен в тюрьму доносом какого-то родителя: «Не такое лекарство дал ребёнку!» По ночам санитары в чёрных халатах собирали трупы с улиц. Оголодавшие птицы рвали из помоек кто дохлую крысу, кто старый башмак.

И наконец же — Война с Германией! Возраст Носова был последний, призванный на ту войну. Ещё не достигнув и девятнадцати, он взят был к противотанковым пушкам, всегда на переднем краю пехоты; по требованиям маскировки вне боёв полными днями скорчась лежать в боковых барсучьих отнорках от траншей, а в бою вчетвером-впятером управляться, под танковым огнём, с пушкой в тонну двести килограмм. Состав батареи вымывало и вымывало красными волнами, приходила замена. А Носову досталось добраться от родных курских мест — и до балтийского побережья Пруссии, где и был он тяжело ранен под конец войны, так что встретил день Победы в госпитале.

Вся нехватимая огненная жестокость войны как бы не поместилась в душе кроткого автора. Ни одной, до глубины же изведанной, батальной сцены он нам не передал. Время от времени в рассказах своих он оставлял нам как бы окружные, побочные приметы войны. Вот — многонедельное мучительное тление израненных или обезрученных в госпитальной палате, в смутной неизвестности своего выздоровления или смерти («Красное вино победы»). — Или бедствия солдатки, когда муж на фронте, а вот пришла и похоронка. — Или сирые малые ребятишки в разорённой избе, в мороз, в прифронтовой полосе. — Или русская печь, уцелевшая от сплошного пожара деревни, так что не осталось «ни былочки, ни поживочки», а печь стоит — и вокруг неё, исколупанной пулями, строится заново какая-никакая изба. — Вот инвалид войны на культяшке, в своей деревне последний годный к ремёслам, к работе («И уплывают...») — Или бывший старшина, так распущенный трофеейной вольностью конца войны, что уже не способен вернуться к скромному труду («Объездчик»).

Надо было автору отдалиться на десятилетия общественного забвения войн, оттеснения ветеранов, неприютности фронтовиков, стыдливости за боевые ордена, уже не нужные, почти смешные, когда молодёжь в забаву пляшет около «вечного огня», молодым оркестрантам в изневолю исполнять траурный марш, и никому-никому не памятные, не известны высеченные на обелисках имена — малая доля их, кто по случайности не канул в полное безвестие. Надо было пережить эти десятилетия, чтобы Носов сперва единожды описал нашего убитого, повисшего на немецкой колючей проволоке, у всех на глазах провисевшего так всю зиму.

Из рукавов шинели торчали почти до локтей голые, иссохшие руки; казалось, этими вытянутыми руками он просил землю принять его, неприютного, скрыть от пуль и осколков, которые всё продолжали вонзаться и кромсать его тело.

А годами позже, когда посвободнела речь, — распахнуть нам и всё то поле на днепровском плацдарме при наступившем весеннем обнажении, уже зловонно тлеющее польце, где в разных позах перезимовали никем не убранные «битые солдатики»: их часть поредевшая была тотчас снята на пополнение, а пришедшие взамен: «это не наши лежат», что под обстрелом «дурную работу делать», ползать да хоронить? а потом до весны снегом закрыло всех. — И ещё шире, шире приходят воспоминания: и на госпитальном-то дворе мёртвых лежало выше забора; широкими розвальнями отвозили их до глубоких долгих ям, в которых прежде хранили колхозную картошку, наскоро выгребли смёрзшуюся

гниль и приспособили под *братские* могилы. «Бывало, и по сотне, а то и больше в одну яму клали». «Никто не забыт, ничто не забыто». — Этих рыжих проплешин потом не пахали, а поперву голодные собаки туда бегали.

В рассказах Носова 90-х годов всё внятнее и тоскливей проступает сгущённая горечь покинутых, обездоленных, если не осмеянных ветеранов Великой войны.

Теперь, через полвека, проступила у Носова, но безо всякого политического жара или упрёка, и подлинная картина советского обезумелого отступления 41-го года («Синее перо»):

Весь день поджигальщики скакали окрест, тыкали в спутанную солому огненной паклей на длинных шестах. Жгли хлебный перестой, немолоченые копна, сено в стогах: «Никому дак никому!» Страшно было оставаться с неоплаченными трудоднями,

пустыми закромами и голодными детишками. На заготзерновских складах зерна сжечь не успели, только облили керосином, а кто-то из народа помешал. Слух прошёл — и туда, к станции, потянулись собирать зерно, кто с ручной тележкой, кто и на корове.

Вокруг складов, на железнодорожных путях всё засыпано пшеницей. А пшеница-то что твой перл, чистая, жёлтая — ну впрямь золото. А из складского нутра тошнотно шибает керосином. Ничего, окрестный люд не побрезговал, бросился набирать кто во что горазд.

По расположению своей мирной природы, по скромной неприязнительности, писатель такого склада не мог не отдать дани и добродушным рассказам о природе, и даже с благоговейностью к ней, её многомножественным силам и тайнам, доступным только внимчивому глазу, уху, обонянию, осязанию — сокровенностям трав, кустов, деревьев, мелким птичьим событиям и повадкам. Целомудренной ненарочитости с природой, интимности с ней, свежим, точным словам для пейзажных красок — внезапной ли радости позднего осеннего распогодья, расточительной буйности сохранённого клочка заповедной полярной степи или раздумчивой передвижке молодого месяца вдоль деревни, как бы пересчитывающего стожки на подворьях. И от каждого стебелька — свой запах, и медный отлив заката на пашне, журавлиный клик на болоте, повсеннему горькое благоухание осин, косматыми старухами сгорбленные древние ракиты, разломистые раскаты грома над полями — и Онега, застывшая в белую ночь.

И все страницы Носова сочатся полнозвучными русскими словами, а в диалогах — живейший разговорный язык, в нём и характер каждого говорящего, и достоверно скрестившийся момент.

Из его слов:

укормистые луга  
обрывистое побережье  
корова выладнилась  
бычок взмыкивает  
паутиный голос  
каплезвонкий  
затайки — *мн*

снеготал  
дурнотравье  
приспособа — *ж*  
намерзь — *ж*  
ветрополье  
засумерило  
угонистая разновсячина (под косой)

переливная звень  
ресницы ячменно лучились  
захватистая пятка топора  
шагалистая песня  
бегучий свет  
заволнобродило

